



Андрей Макарычев

ТERRORИЗМ: ЭНЦИКЛОПЕДИИ, АРХЕОЛОГИЯ,  
ГРАММАТИКА

В последние годы редкий анализ международной политики обходится без упоминания о терроризме. И что же? Сама эта тема стала своего рода *дежурной, обязательной* для сообщества экспертов в области безопасности.

Есть, тем не менее, сфера, в которой наблюдается не переизбыток, а, наоборот, дефицит исследований – речь идет о концептуальном *прочтении* феномена (пост)современного терроризма. При всем обилии эмпирических исследований попыток перевести разговор о терроре на теоретический язык предпринималось не так уж и много. Между тем соотношение между различными версиями природы терроризма является одной из ключевых, но в то же время мало исследованных тем современного дискурса безопасности. Государство, становящееся мишенью террористических атак или их угроз, обычно имеет перед собой своего рода *меню интерпретаций*, состоящее из нескольких позиций, имеющих свою скрытую или явную логику.

## МОЙ МЕТОД

В методологическом плане подход, предлагаемый в настоящей статье, базируется на трех взаимосвязанных концептах, каждый из которых имеет как свои корни в различных теориях дискурса, так и практические проявления в интересующей нас сфере безопасности. Первый рабочий концепт взят мной из работ Умберто Эко – это *семантическая энциклопедия*, то есть «наша система понятий», «запас знаний» о системе кодов, которые «читатель использует при интерпретации текста». «Стоит поменять энциклопедию – и наше восприятие будет иным», полагает итальянский мыслитель и продолжает: энциклопедия дает сведения о позиционировании тех или иных выражений при разных обстоятельствах и в разных контекстах<sup>1</sup>.

Для У. Эко существование любого текста возможно лишь как результат тесного взаимодействия между его *отправителем и получателем*. «Есть тексты, которые могут не только свободно, по-разному интерпретироваться, но даже и создаваться ... в сотрудничестве с их адресатом; «оригинальный» текст в этом случае выступает как пластичный, изменчивый тип, позволяющий осуществлять себя в виде многих различных реализаций»<sup>2</sup>.

Исходя из целей моего анализа, полагаю допустимым рассматривать феномен терроризма как череду сменяющих друг друга текстов (*сообщений*), которыми обмениваются все вовлеченные (и сопряженные друг с другом соавторством этих *текстов*) стороны, у каждой из которых есть своя *семантическая энциклопедия*, то есть собственная система восприятия окружающего мира. Эти тексты по-разному прочитываются (расшифровываются) в рамках различных «текстовых стратегий» и насыщаются разными *контек-*



А  
Н  
А  
Л  
И  
З

стуальными смыслами, исходящими из различий между кодами (интерпретационными ключами) адресата и отправителя. Одни свойства текста могут быть актуализированы по мере его прочтения, а другие – наоборот, отключены или заморожены – ситуация, которая более подробно будет разобрана на примере взаимного соотнесения политизированных и деполитизированных стратегий интерпретации терроризма.

Второй концепт, на котором базируется моя система рассуждений, – это *грамматика*, под которой мы (вслед за Эрнесто Лаклау) будем понимать правила, которые определяют внутреннюю структуру дискурса, включая *языковые игры* и манипуляции смыслами. В этой связи можно вспомнить работы Ю.М. Лотмана, посвятившего немало усилий объяснению того, почему «в одних случаях разные тексты охотно вступают в отношения, образуя структурное целое, а в других – они как бы не замечают друг друга»<sup>3</sup>. «Один и тот же текст мог содержать тайное (конспиративное) значение для посвященного и несокровенное – для профана... Каждая деталь и весь текст в целом включены в разные системы отношений, получая в результате одновременно более чем одно значение»<sup>4</sup>.

Наконец, третий используемый концепт – это фукодианская *археология*. В категориях Мишеля Фуко *археология* описывает «дискурсы как практики, точно определенные в системе архива», то есть в системе, управляющей появлением тех или иных высказываний. «Археология определяет типы и правила дискурсивных практик» и указывает на так называемые «направляющие высказывания», которые «конституируют стратегический выбор», оставляя «место для неограниченного числа последующих предпочтений»<sup>5</sup>.

М. Фуко интересен мне с точки зрения своих подходов к дискурсу как явлению, которое дает возможность обнаружить за высказываниями намерения «говорящего субъекта». Разные типы дискурса (террористов и их жертв) предполагают друг друга, и в то же время «одна и та же совокупность слов может породить многие смыслы и многие возможные конструкции»<sup>6</sup>. Его работы позволяют мне не только выделять ключевые точки в той или иной дискурсивной практике, но и – что не менее важно – *расшифровывать молчаливые* ситуации, связанные с отсутствием четко артикулируемых позиций, что весьма актуально для изучения *грамматики* терроризма.

Как видим, все три концепта, несмотря на существенные различия между ними, объединяет общий интерес к проблемам внутреннего устройства текстов, которые составляют ткань взаимоотношений между различными социальными субъектами безопасности. Три категории, представленные выше, взаимно дополняя друг друга, высвечивают различные грани интересующего нас дискурса: *энциклопедия* вводит определенный понятийный аппарат и дает ему семантическую «расшифровку», *грамматика* встраивает отдельные его компоненты в те или иные *игровые* поля, а *археология* делает еще один шаг вглубь изучаемого предмета, объясняя, как различные логики и интерпретации сталкиваются друг с другом, порождая таким образом новые смыслы. Исходя из этого, наш анализ основывается на комбинации подходов, коренящихся в исследованиях названных выше мыслителей и примененных к анализу проблем терроризма в XXI в.

### ТРИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ТЕРРОРИЗМА

С моей точки зрения, выделение основных теоретических подходов к феномену терроризма было бы интересно представить как сочетание различных *семантических энциклопедий*, каждая из которых базируется на определенном академическом *словаре*, формирующем вокруг себя особое смысловое поле.

#### *Консервативная энциклопедия*

Многие современные интерпретации терроризма строятся на основе известной формулы Карла Шмитта, согласно которой «феномен политического может быть понят только

в контексте постоянно сохраняющейся возможности деления на друзей и врагов, вне зависимости от того, как эта возможность влияет на мораль, эстетику или экономику»<sup>7</sup>.

Шмиттианские идеи могут быть применены к анализу проблем терроризма в силу того обстоятельства, что в триаде «Суверен – Друг – Враг» ключевым для К. Шмитта является ее первый элемент. Связывая воедино категории *общественного интереса* и *исключения*, немецкий мыслитель постулирует, что «законодатель должен сам учитывать то, что ему не удастся все предусмотреть»<sup>8</sup>. Глобализация террора заставляет нас по-новому услышать слова о том, что чрезвычайные обстоятельства требуют от Суверена «делать все, что он сочтет нужным», причем «все наказания и меры, заявленные в отношении бунтовщиков, заранее ратифицируются»<sup>9</sup>.

Мы указываем на К. Шмитта как на *эмблему консервативной энциклопедии*, поскольку для него важнее всего было противопоставить своим либеральным оппонентам тезис о том, что без политики исключений «государство и конституция могли бы погибнуть из-за своей *легальности*»<sup>10</sup>. Исходя из этого, он и пытался объяснить природу чрезвычайных мер в отношении вызовов безопасности и их постепенную институционализацию: «рамки правовой системы никогда не могут быть настолько широки, чтобы формализован был сам процесс приведения приговора в исполнение». Соответственно, вопрос о том, кто принимает решения в случаях, не регламентированных в правовом отношении, становится вопросом о *суверенитете*. Переводя К. Шмитта на современный язык начала XXI в., можно утверждать, что ответ на вызовы терроризма либо формулируется Сувереном, либо он не формулируется вообще. Шмиттианский Суверен – это тот, кто делает «исключения, которые разрешены»; тот, кто «может непосредственно, во всей полноте своего могущества выступить на защиту общественной безопасности и существования государства»<sup>11</sup>.

Большинство современных подходов к «грамматике терроризма» так или иначе включают в себя шмиттианский ингредиент, однако трактуется он очень по-разному. Две интерпретации К. Шмитта – пост-структуралистская и конструктивистская – кажутся нам наиболее существенными в рамках анализа современного антитеррористического дискурса.

### *Конструктивистская энциклопедия*

Интерпретация идей К. Шмитта, сформулированная в рамках конструктивистской парадигмы, состоит в недостаточности простого постулирования фигуры Суверена как *точки отсчета* для всей последующей системы рассуждений о безопасности. Фундаментальная проблема, выявляемая в ходе конструктивистского прочтения К. Шмитта, состоит в том, что его формула *политического* соединяет два параметра, которые его критики предпочитают разводить по разные стороны: это а) восприятие мира сквозь призму *друзей и врагов* и б) признание источником такого деления *чистое* волевое решение Суверена. Однако, с логической точки зрения, процедура *опознания* друзей и врагов не обязательно ограничивается суверенным жестом *номинации* на эти *вакантные должности*, равно как и волевые решения Суверена совсем не обязательно должны иметь в качестве своих референтов фигуры *друзей и врагов*.

Жак Деррида в этом смысле идет дальше К. Шмитта: *враг* для него не является фигурой данной (продолжая эту логику, можно привести массу вариантов, когда ситуация безопасности не базируется на вычленяемой фигуре Другого – например, *война с бедностью* или *война с террором*). Деррида говорит о том, что «для идентификации врага я должен признать его, но таким образом, чтобы и он тоже признал меня. В этом взаимном признании все дело»<sup>12</sup>. То есть, процесс опознания врага предполагает в качестве неотъемлемого компонента самоидентификацию нас самих.

Схему К. Шмитта, делящую объекты внешних коммуникаций государства на *друзей* и *врагов*, справедливо пытается усовершенствовать и французский философ Ален Бадью.



Его мысль состоит в том, что в этой схеме проблематизации подлежат не столько концептуальные персонажи *друзей и врагов*, сколько те, кто (часто вынужденно) (пере)определяет себя по отношению к ним. Такая постановка вопроса, по сути, повторяет известный тезис социального конструктивизма о том, что политика – это создание *нас* через определение *их*. И К. Шмитт здесь вряд ли может чем-то помочь: для него единственной инстанцией, соотносящей себя с *друзьями и врагами*, является Суверен как источник чистой политической воли.

А. Бадью, таким образом, переносит внимание со шмиттианской пары *Друг – Враг* на другую пару: *Мы – Они*. Ему важно понять, «что это за «некое мстящее за себя *мы*», которое сталкивается с терроризмом»? В качестве основы для размышлений он предлагает три варианта: *мы – это Запад, общество, демократия*<sup>13</sup>. Рассмотрим каждый из предложенных вариантов более подробно.

- *Мы как Запад* представляется наименее плодотворным вариантом рефлексии, поскольку чисто географические категории здесь вряд ли очевидны. *Не-Запад* не в меньшей степени ощущает себя жертвой терроризма, чем страны Европы или Северной Америки. При этом, например, турецкие эксперты видят природу терроризма иначе, чем американские, – не столько в криминальных, сколько в идеологических, религиозных и даже культурных установках отдельных групп. Из этого следует иная стратегия противодействия терроризму, скорее связанная не с обрубанием финансовых потоков, питающих терроризм из незаконных источников, а с продуманной социальной политикой в проблемных регионах, вовлечением в политические процессы этнических групп, склонных к массовому насилию, и т.д.
- *Мы как общество*. Эта линия рассуждений фактически выводит нас на признание того обстоятельства, что *борьба с террором* заставляет нас в новом свете зафиксировать границу, отделяющую *Социальное* от *не-Социального*, то есть от «хаоса, полного разложения, распада всех социальных связей»<sup>14</sup>. В практическом плане речь может идти, в частности, об обсуждении возможностей общественных организаций (включая профессиональные ассоциации, этнические диаспоры, религиозные общины и т.д.) в профилактике терроризма. Есть основания предполагать, что страны Запада в ближайшее время попытаются создать ряд прецедентов в плане взаимодействия государственных и негосударственных инстанций в борьбе против терроризма и предложат эту модель другим странам.
- *Мы как демократия*. Такая постановка вопроса кажется наиболее релевантной, поскольку ключевой темой, обсуждаемой в настоящее время экспертами в контексте борьбы с терроризмом, является соотношение двух категорий – *безопасности* и *демократических свобод*. Есть точка зрения о том, что безопасность как концепт выходит за пределы *нормальной политики*<sup>15</sup>. Практически во всех странах Запада существует понимание того, что чрезвычайность угроз терроризма требует *чрезвычайных мер*, в значительной степени подразумевающих пересмотр традиционных представлений о правах человека. За последние годы законодательства практически всех стран, столкнувшихся с вызовами террористов, были дополнены новыми статьями, ограничивающими права граждан (на тайну переписки и переговоров, на распространение информации и пр.) и одновременно ужесточающими наказание за пособничество терроризму и пропаганду его идей. В Турции, например, уголовному преследованию подвергаются лица, участвующие (в том числе и анонимно) в публичных акциях, поддерживающих насилие, а также родители, чьи дети вовлечены в деятельность террористических движений.

В этой связи можно предположить, что магистральной линией политических дебатов в большинстве стран Запада (в парламентском или предвыборном форматах) на долгие годы вперед станет, во-первых, обсуждение *легитимности* экстраординарных мер, связанных с противодействием терроризму; и, во-вторых, установление зависимости анти-

террористических мер от политики в области *иммиграции* и предоставления убежища (наиболее типичным примером в этом плане, пожалуй, пока является Великобритания).

С моей точки зрения, А.Бадью можно понять в том смысле, что угроза терроризма меняет представления его реальных или потенциальных жертв о том, что такое *Запад, общество и демократия*. Однако его триаду, на наш взгляд, следовало бы дополнить еще одним элементом, который, возможно, дает даже более содержательный ответ на вопрос о том, как *мы, мишени* терроризма, воспринимаем самих себя и конструируем свою идентичность. Речь идет о существенно новых акцентах в понимании того, что представляет собой *политика*.

Эволюцию этого концепта можно проследить, отталкиваясь от широко распространенного в рамках *копенгагенской школы*, находящейся на пересечении школы исследования мира (peace research), социального конструктивизма и *английской школы* международных отношений, представления о том, что *политика* должна быть логически и концептуально отграничена от «безопасности». Представление некоей ситуации как проблемы безопасности, следуя этой (в известном смысле, контр-шмиттианской) логике, означает ее вывод за пределы политического пространства, поскольку требует применения чрезвычайных мер, не вписывающихся в существующую нормативную базу<sup>16</sup>. Другими словами, «политика» – это феномен *нормального* состояния общества, в то время как *безопасность* – неизбежный атрибут ситуаций исключительных, экстраординарных.

Однако события 11 сентября 2001 г. дали толчок к пересмотру необходимости отделения сферы *политики (правила)* от сферы *безопасности (исключения)*. По сути, произошел возврат к шмиттианскому пониманию того, что в основе представлений о политике лежит война как экстремальное, но неизбежное выражение реакции государства на вызовы безопасности. Вот как об этом пишут Майкл Хардт и Антонио Негри: война «становится общей матрицей для всех отношений власти и техник доминирования... Особенностью нашей эпохи является то, что война превратилась из конечного элемента в цепи последствий власти ... в ее изначальный компонент, становясь у истоков политики как таковой... Если ранее войну пытались регулировать посредством правовых структур, то сейчас война сама стала регулятором посредством конструирования и навязывания своей правовой рамки»<sup>17</sup>.

Иными словами, в начале XXI в. чрезвычайность оказывается органически встроенной в наше понимание *политического*. Политика, таким образом, предполагает не только признание субъектности *Другого (Чужого)* в качестве оппонента, соперника или врага, но и выработку особых, нестандартных инструментов для решения вытекающих из этого проблем.

### *Постструктуралистская энциклопедия*

Другая интерпретация К. Шмитта, сформулированная в рамках постструктуралистской традиции, содержит в себе, по меньшей мере, три отрицания.

*Во-первых*, постструктуралистская энциклопедия отрицает возможность описания отношений между Сувереном и террористами как отношений межсубъектных в строгом смысле этого слова. Этот аргумент распадается на две *половинки*.

С одной стороны, постструктуралистская энциклопедия ставит под большое сомнение неизбежность фигуры Суверена как субъекта безопасности. Как мы упоминали выше, К. Шмитт постулирует необходимость всемогущего Политического Субъекта, возникающего в акте решения. На первый взгляд, может показаться, что эта его идея популярна среди некоторых постструктуралистов: показательно, например, настойчивое упоминание о фигуре *Мастера* такими философами, как, например, Славой Жижек. Жижекковский *Мастер* изобретает свои *означающие* с тем, чтобы придать гармонию хаосу слов (*терроризм* – несомненно, один из таких *означающих*). Тезис, объединяющий К. Шмитта и С. Жижека, может звучать следующим образом: так называемые *состояния исклю-*



чения, особенно актуализирующиеся в связи с *войной против террора*, требуют Субъекта, обладающего характеристиками Суверена и не связанного в своей деятельности какими-либо ограничениями. Перефразируя Э. Лаклау, можно сказать, что у такого гипотетического Субъекта нет причин объясняться по поводу того или иного решения<sup>18</sup>.

Однако здесь необходимо сделать две существенные оговорки. Первая состоит в том, что *Мастер* у С. Жижека в отличие от Суверена у К. Шмитта – это скорее фигура дискурса, чем фигура политики. Во-вторых, есть сильное подозрение, что для С. Жижека *Мастер* как некое начало, упорядочивающее дискурс, необходим только для того, чтобы впоследствии было что деконструировать. Его фигура оказывается не только внутренне несовершенной, но и содержит в себе зерна саморазрушения. Ссылаясь на М. Фуко, можно утверждать, что суверенный Субъект никогда не может быть абсолютно полным и законченным; более того, сам Субъект является производным от операций власти.

Вторая оговорка касается того, что Субъект никогда полностью не контролирует результаты своих действий, которые обречены на то, чтобы неизбежно отличаться от первоначальных планов<sup>19</sup>. И именно в этом пункте скептицизм в отношении фигуры Суверена распространяется на фигуру его противника: источник террористической угрозы тоже не может быть признан Субъектом в строгом смысле этого слова. Скорее, мы имеем сетевую, децентрализованную конструкцию терроризма, которую сложно определить через категорию субъекта.

*Во-вторых*, постструктуралистская «энциклопедия» отрицает релевантность категории *общества*, которую А. Бадью предложил в качестве важного референта ситуаций безопасности. Наиболее подробно на эту тему высказывался Эрнесто Лаклау: для него социальное существо лишь как тщетная попытка установить собственный невозможный объект: *общество*<sup>20</sup>. Такая позиция опирается на признание сомнительного характера любой структуры: «постоянное движение различий в развитых капиталистических обществах показало, что идентичность и гомогенность социальных агентов была иллюзией. Что всякий социальный субъект, по существу, является децентраванным, что его (ее) идентичность – это всего лишь изменчивая артикуляция непрерывно меняющихся положений»<sup>21</sup>.

*В-третьих*, постструктуралистская «энциклопедия» отрицает оппозицию *мы – они* применительно к ситуациям терроризма. Эта видно по тезису С. Жижека о том, что терроризм, как ранее фашизм, может рассматриваться как «неприличный эксцесс» самой западной цивилизации. В другом месте та же позиция выражается им в лакановской фразе «Я смотрю на картину и вижу в ней себя». Иными словами, во *Внешнем Зле* мы можем узнать некую версию нашей собственной сущности. Соответственно, террористическое насилие – это проекция, продолжение нас самих. В этом смысле вслед за С. Жижеком можно сказать, что «каждая черта, приписываемая Другому, уже присутствует в самом сердце Соединенных Штатов», включая «кровожадный фанатизм». В другом месте он пишет: «Джихад и мир Макдональдса – это две стороны одной медали; Джихад – это Мак-джихад»<sup>22</sup>. Применительно к Ираку эту логику можно продолжить в том смысле, что демонизированная фигура Саддама Хусейна предстает как прямое порождение американской пропагандистской машины.

Интересно, что аналогичную мысль высказывает и г-н Ремизов: статус террориста не исключает его «гражданской принадлежности обществу»<sup>23</sup>. Другими словами, международный терроризм, с одной стороны, является специфическим продуктом своих жертв, а с другой – находит свое продолжение в виде своих *агентов*, действующих от его имени внутри самих западных обществ.

Сказанное выше в отношении размывания оппозиции *мы – они* выводит мой анализ на уровень поиска тех смыслов, которые возникают при проблематизации ряда концептов посредством их использования для объяснения тенденций, характерных для сферы безопасности. *Грамматический* подход будет применен нами для объяснения тех смыслов, которые вкладываются в термин *асимметричные* угрозы безопасности.

Включение терроризма в качестве составной части в целый комплекс *асимметричных* угроз безопасности, с нашей точки зрения, наиболее адекватно анализируется сквозь призму его *грамматики*. В современной литературе терроризм действительно часто упоминается в контексте асимметричных угроз. Этот термин приобретает все большую популярность среди специалистов по безопасности, однако представляется, что он требует весьма деликатного к себе отношения. Дело в не том, что в связи с терроризмом «симметричные» угрозы, якобы, оказались замененными на асимметричные. Скорее, следует говорить о новом, более сложном балансе между симметрией и асимметрией как характеристиками, присущими взаимоотношениям между «субъектами безопасности». Это обстоятельство хорошо иллюстрируется на примере «войны с терроризмом»: любая ситуация, описываемая как «война», симметрична в том смысле, что обе стороны вынуждены признать политическую субъектность друг друга, даже если речь идет об асимметричном противостоянии государства и трансграничной террористической структуры. Нельзя вести войну с тем, кого ты не признаешь равным и в известном смысле достойным для себя противником.

Антонио Негри, назвав терроризм *двойником Империи*, обратил внимание на важное обстоятельство, раскрывающее еще одну грань отношений симметрии между двумя воюющими сторонами. Это парадоксальное, на первый взгляд, определение можно понять по-разному. Например, в нем можно увидеть такие общие для *Империи* и терроризма характеристики, как мобильность, гибкость, децентрарованность и детерриториализацию. В то же время позицию А. Негри можно воспринять как указание на то, что коль скоро терроризм представляет собой радикальное отрицание существующих правил, то и отвечать на него следует аналогично – то есть с помощью политического по своей природе инструментария, предполагающего высокую степень *свободы рук*. Дискуссии в США о возможности применения пыток в отношении организаторов и соучастников террористических актов – одна из манифестаций симметричности реакции со стороны Запада на выпады терроризма. Тот же подход к симметрии С. Жижек формулирует несколько иначе: разные виды насилия («чистое» насилие, с одной стороны, и насилие, лежащее в основе функционирования и поддержания государства, с другой) сдерживают друг друга<sup>24</sup>.

Есть и другое понимание симметрии, базирующееся на известной идее Жана Бодрийяра о том, что терроризм – это такая же расплата постиндустриального общества за свои грехи, как и СПИД, электронные вирусы и биржевые махинации. Наконец, есть версия симметрии от Жака Деррида: для него она проявляется в отношениях взаимозависимости между внутренним и внешним врагами<sup>25</sup>. Другими словами, в тех случаях, когда терроризм определяется как внешний враг, неизбежно появляется фигура его пособника, *двойника* внутри страны, играющего роль *пятой колонны мирового терроризма*.

Однако в этой симметрии можно найти существенные элементы асимметричных отношений. Несколько из них заслуживают особого внимания.

*Во-первых*, по словам Ж. Бодрийяра, 11 сентября 2001 г. террористы нанесли Америке «удар, который вернуть она не сможет»<sup>26</sup>. Эту мысль, очевидно, следует понимать в более широком контексте, определяемом, в частности, работами М. Фуко. Так, вводя в оборот фигуру «человеческого монстра» как воплощающую собой «радикальное отрицание закона», он говорит о том, что при этом сама законодательная система чаще всего оказывается не в состоянии выработать правовой ответ на этот вызов, заменяя его политическим (например, в виде выборочных репрессий). *Монстр* как «концептуальный персонаж», таким образом, ставит под сомнение работоспособность юридической системы государства. В более широком смысле М. Фуко можно прочитать таким образом, что «безосновательное преступление ставит уголовную систему в абсолютный тупик. Исполнение карательной власти в таком случае невозможно»<sup>27</sup>.

*Во-вторых*, с одной стороны, террористические атаки затрагивают *простых людей* и направлены против общества; однако, с другой стороны, чаще всего ожидается, что ответ



на него должен быть сформулирован в политических категориях. Примером может служить так называемый «*карикатурный*» скандал, разразившийся в 2005 г. после публикации в одной из датских газет рисунка, изображающего в ироничном свете пророка Мухаммеда: в то время как мусульманские страны требовали от Копенгагена *политической* реакции, датское правительство уклонилось от нее, переведя свой ответ в *социально-технологический* формат, сославшись на право частного средства массовой информации на свободу изложения своей позиции. Косвенным результатом этой асимметрии стала серия погромов в отношении датских дипломатических учреждений по всему арабскому миру.

*В-третьих*, важным компонентом, усиливающим тенденцию к асимметрии, можно считать размытость субъектных позиций в рамках террористических ситуаций. Речь идет не только о том, что государства борются с сетевыми, децентрарованными структурами; более интересно за этой очевидной асимметрией увидеть другую, связанную с тем, что размывается граница между *политическими субъектами* и *субъектами безопасности*. Наиболее очевидным ее проявлением является тот факт, что большинство из основных террористических организаций (в данном контексте являющихся «чистыми» субъектами безопасности) порождают своих «политических двойников», функционирующих в качестве партий или общественных организаций (ХАМАС, «Хизбалла»).

### *Археология политизации и деполитизации*

*Археологический* (в категориях М.Фуко) подход, сменяя (и углубляя) *грамматический* в последовательности наших рассуждений, фокусирует наше внимание на ситуациях встречи (и взаимного соотношения) различных, но тесно связанных друг с другом дискурсов, отражающих логики политизации и деполитизации. Дилемма «война или преступление»<sup>28</sup>, сформулированная в отношении понимания терроризма, отчасти отражает эту проблемную ситуацию.

Подходы постструктуралистов, на первый взгляд, не имеющие прямого отношения к теме нашего анализа, представляют собой хорошую методологическую основу для понимания логики деполитизации. Ж. Деррида, к примеру, делал различие между: а) *политическими преступлениями* и б) *преступлениями против политического*, то есть теми, которые делают *политические преступления* (включая терроризм) неотличимыми от других видов преступности<sup>29</sup>, то есть деполитизируют их.

Автором, который поставил вопрос о том, какого рода «техники нормализации» могут быть применены в отношении тех, кто восприимчив к исправлению и реабилитации, стал М. Фуко. Он интересен нам своей проблематизацией ситуаций, при которых источник насилия (в нашем случае – терроризма) не является юридическим субъектом в строгом смысле слова, а находится либо в зоне «умственного отклонения», либо преступности. Это он называет «территорией двойной детерминации», говоря о тенденции к «патологизации преступления»<sup>30</sup>: «монстр» может быть «преступником», и наоборот. Другими словами, «просчет природы» может сочетаться с нарушением законов («преступник-безумец», или «выродок»)<sup>31</sup>. Об этом же размышляли и его коллеги, говоря о «зоне неразличимости между зверем и человеком»<sup>32</sup>.

Категорию «отклонения» в нашем контексте следует понимать в том смысле, что общественное сознание часто не может определить для себя рациональные мотивы в действиях террористов, квалифицируя их как «безосновательное деяние»<sup>33</sup> (например, убийство детей, женщин или стариков) и поэтому склонно описывать их действия в девиантных категориях: «судить индивидов будут как преступников, но квалифицировать, оценивать, мерить их будут в терминах нормального и патологического»<sup>34</sup>.

М. Фуко первым среди влиятельных мыслителей увидел «дихотомический раздел между болезнью и ответственностью, между патологической обусловленностью и свободой юридического субъекта, между терапией и наказанием, между медициной и уголовной



практикой, между больницей и тюрьмой»<sup>35</sup> – с одной стороны, а с другой – «синтез опасности и безумия»<sup>36</sup>. Говоря его словами, «за всяким преступлением может быть обнаружено некое безумное поведение, и, наоборот, во всяком безумии вполне может быть заключена опасность преступления»<sup>37</sup>. «Криминальный» и «клинический» варианты интерпретации, впрочем, могут совпадать, как это произошло в случае с обошедшими весь мир кадрами, изображающими поверженного Саддама Хусейна в качестве обыкновенного пациента клиники, открывающего рот по указанию осматривающего его тюремного врача.

«Криминализация» терроризма включает его в упоминавшийся выше асимметричный «комплекс безопасности», в основе которого лежит организованная *преступность*, куда входят всевозможные повстанческие движения в политически слабых государствах, незаконные вооруженные формирования, а также нелегальные виды деятельности (включая наркотрафик, торговлю людьми и оружием, и пр.). Фактически такая широкая трактовка стирает грань между *войной с террором* и *войной с преступностью*, что уже отчасти отражается на внешней политике США по отношению к ряду *проблемных* стран. Из этого следует, что американское правительство готово поставить знак равенства между любой криминальной деятельностью (в том числе коррупцией) и терроризмом и, соответственно, рассматривать любые формы непрозрачности и *теневых отношений* как потенциальные основы для террористической активности.

#### *Четыре дискурсивные диспозиции*

Терроризм, на первый взгляд, дает нам типичный пример исключительно политического проекта в жижековском смысле: «если мы вовлечены в политический проект, мы готовы все отдать ради него, включая наши жизни» с тем, чтобы изменить «сами координаты возможного»<sup>38</sup>. Терроризм – это и есть наиболее радикальное отрицание «правил игры», разрушение, подрыв структуры Символического Порядка. Любой теракт в этом смысле – акт политический, поскольку он, с одной стороны, «радикализирует возможность смерти»<sup>39</sup>, а с другой – авторизуется, легитимируется самим политическим агентом без видимых внешних обоснований или ссылок на предыдущие обстоятельства, традиции и пр. Политический Акт не всегда можно объяснить рационально, он не есть естественный результат предыдущего ряда событий. Он неизбежно содержит в себе травму, риск, так как он не дает гарантий в виде отсылок к законам, которые обосновали бы решение и на которые можно было бы опереться.

При этом важно увидеть, что государство, ставшее мишенью или жертвой террористов, может как гиперполитизировать, так и деполитизировать ситуацию. С точки зрения сочетания стратегий политизации и деполитизации возможны четыре дискурсивные ситуации, описывающие *археологические* взаимоотношения между источниками террористических угроз и их жертвами. Две из них характеризуются симметричностью, в то время как две другие представляют собой примеры асимметричных отношений.

*Во-первых*, можно представить себе ситуации, при которых происходит «встреча», соприкосновение двух дискурсивных подходов, характеризующихся как политические. Другими словами, и террористы, и те, против кого направлены их действия, позиционируют себя в качестве политических субъектов, ведущих друг с другом войну по следующему принципу: «исключительность события или ситуации диктует необходимость исключительного ответа»<sup>40</sup>.

Встреча двух политических волей и субъективностей может привести к двум прямо противоположным эффектам – либо к переговорам двух политических субъектов друг с другом, либо к эскалации конфликта. Примером последней может служить противостояние между израильянами и палестинцами: обе стороны воспринимают конфликт, конституирующей основой которого является террористическое насилие, исключительно в политических категориях. Авторы терактов заявляют об их политической подоплеке, и именно таким образом они осознаются и трактуются противоположной стороной. При этом



война не столько определяется политическими факторами, сколько сама «определяет условия аутентичной политической практики»<sup>41</sup>. Примеры Израиля и США при этом показывают, что не существует непреодолимого противоречия между либерализмом внутреннего устройства государства и его склонностью вести войны, включая войну с террором: «действия, предпринимаемые либеральными демократиями в ответ на глобальный терроризм, являются просто продолжением практик, которые определяют и поддерживают либеральную модель управления»<sup>42</sup>.

*Во-вторых*, другая форма симметричных отношений возникает, когда обеими сторонами ситуация интерпретируется в неполитических категориях. Такое возможно, например, когда группа террористов выдвигает ряд частных требований, не связанных с отношениями власти в прямом смысле этого слова и поэтому технически вполне осуществимых (например, денежный выкуп за захваченных заложников или освобождение из тюрем ряда лиц). Ситуация складывается таким образом, что обе стороны воспринимают ее сквозь призму взаимного «технического» согласования ряда условий, выполнение которых потенциально может положить конец конфликту. Версия событий 11 сентября 2001 г., предложенная Майклом Муром в фильме «9/11 по Фаренгейту», является предельным выражением этой позиции, которая не оставляет места политическим факторам в строгом смысле этого слова, поскольку предлагает искать корни терроризма в прагматическом сговоре американской и саудовской элит.

Эта модель оставляет возможность для переговоров, однако принципиально важно то, что они не могут носить публичного характера. Основная опасность при этом состоит в том, что любой (даже относительный) успех такого закулисного торга может привести к желанию тиражирования такого опыта до бесконечности, что может превратиться в своего рода *бизнес* (захват заложников, например).

*В-третьих*, можно смоделировать первую из двух асимметричных ситуаций, при которой политическая позиция, заявленная террористами, не воспринимается в таком качестве их *мишенью*. Более того, эта «мишень» дезавуирует политическую составляющую противоположной стороны, представляя ее, например, в качестве *бандитов, преступников, незаконных вооруженных формирований* и пр. Здесь нет почвы для публичных переговоров между противостоящими сторонами (снятый на камеру телефонный разговор между В.С. Черномырдиным и Ш.С. Басаевым смотрится скорее как исключение).

Более типичной является *ситуация молчания*, находящая выражение в формуле «правительство не ведет переговоры с бандитами и не предоставляет им эфира». Искусственное замалчивание государством воззваний и требований террористов означает особый тип деполитизированной стратегии, в результате чего создается искаженное представление об их намерениях (особенно в случаях с захватом заложников). Эта дискурсивная «пустота» способствует восприятию обществом терроризма как серии аполитичных актов (не это ли, в частности, имел в виду Ж. Деррида, говоря о «странном диалоге между речью и безмолвием»?<sup>43</sup>). В этом, видимо, есть своя симметрия: *постполитика* не терпит политических вызовов в их чистом виде и поэтому вынуждена редуцировать их, переводя интерпретации терроризма на органичный *постполитический* язык.

Такая модель применима и в отношении России: ее руководители «всеми силами стремятся отрестить от ассоциации своих действий с войной и представить их как ограниченную контртеррористическую операцию»<sup>44</sup>. Террористам при этом отказывается в возможности предстать в качестве носителей политического *послания* посредством *криминализации* их действий на уровне как визуальных репрезентаций, так и дискурса. Допустим, чеченские *повстанцы*, как их часто называют на Западе, фигурируют в российских СМИ в качестве *бандитских группировок*, то есть одной из форм организованной преступности, которая находится вне поля политических отношений. Такая ситуация соответствует логике К. Шмитта, согласно которой представление себя в качестве неполитической фигуры не только открывает возможности для привнесения в свою позицию моральных, правовых, экономических и других компонентов, но и создает почву для кон-

трастного противопоставления своей *неполитической* позиции как морально превосходящей позицию своих оппонентов<sup>45</sup>.

Частичным подтверждением этой модели стала трактовка лидерами «Большой восьмерки» терроризма как одного из видов организованной преступности, что можно интерпретировать как отказ террористам в признании политической составляющей их деятельности. Соответственно, борьба с терроризмом – это не столько политический ответ на политический же в своей основе вызов, сколько применение ряда *технических* мер, как то: стимулирование экономического развития *проблемных стран* посредством роста иностранных инвестиций, внедрение в них практики «надлежащего управления» (*good governance*), расширение ресурсных и институциональных возможностей (*capacity building*), поддержка образовательных программ, и так далее. Такая деполитизированная модель противостояния с терроризмом есть следствие увязывания «археологии» безопасности с целым рядом либеральных концептов, к числу которых, несомненно, относится прозрачность, толерантность, мультикультурализм.

Непризнание политической субъектности террористов со стороны их жертв ведет к инвестированию ресурсов террористических организаций в сферу публичных коммуникаций, о чем свидетельствует функционирование телеканалов типа *Аль-Джазира*, а также массы Интернет-сайтов соответствующего содержания. Воспроизводя логику А. Негри и М. Хардта, можно утверждать, что террористические структуры не менее эффективно, чем Запад, используют различного рода сетевые «стратегии сопротивления», в том числе и в коммуникационной сфере.

Наконец, *в-четвертых*, вероятны ситуации, при которых сторона, считающая себя жертвой, приписывает своим противникам политические намерения, хотя те, в свою очередь, действуют в рамках другой, неполитической логики. В категориях М.Фуко преступник может пониматься как «враг общества»<sup>46</sup>, то есть политизируется. Чисто криминальные акты (например, взрывы нефтепроводов или насилие в отношении иностранцев на курортах) могут быть использованы в контексте конструирования образа Врага; либо акты локального насилия могут быть преподнесены как «агрессия глобального терроризма». Такая стратегия может стать необходимостью в случаях, когда дискурсивно терроризм становится «инструментом политической мобилизации»<sup>47</sup>.

Конечно, политизированные и деполитизированные подходы могут вполне сочетаться друг с другом. Вновь сошлюсь на заявленную «Большой восьмеркой» на саммите в Санкт-Петербурге (июль 2006 г.) позицию по борьбе с терроризмом, составным компонентом которой является «привлечение к суду, в соответствии с обязательствами по международному праву, лиц, виновных в совершении терактов, а также их финансировании, поддержке, планировании подобного рода действий и подстрекательства к ним». Это политически корректное заявление, однако, оставляет открытым вопрос о том, почему буквально накануне приезда в Санкт-Петербург лидеры США и Евросоюза направили свои поздравления России в связи с физическим уничтожением Ш.С. Басаева, а уже во время самого саммита американский президент не стал осуждать Израиль за начало боевых действий против Ливана, фактически возложив ответственность за эскалацию насилия на «Хизбаллу». Разрыв между позициями, заявляемыми в официальных документах саммита, и практическими действиями лидеров, их подписавших, в этом смысле напоминает разрыв между Символическим и Реальным, который носит неустрашимый характер и в известном смысле конституирует логику современной мировой политики.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для России ситуация, описанная выше, дает повод варьировать различные стратегии в отношении терроризма. Их полярные случаи можно, вслед за С. Жижекком, назвать тактиками *возбуждения* и *транквилизации*<sup>48</sup>. В ситуациях, требующих особой мобилизации населения, вполне вероятно использование алармистских приемов, связанных с поли-



С материалами по проблемам терроризма вы также можете ознакомиться в разделе «Ресурсы по темам – Мегатерроризм» интернет-представительства ПИР-Центра по адресу <http://pircenter.org/view/iran>

тизацией вызовов террористов и представления их действий как требующих политического ответа. Возбуждение имплицитно имеет место всякий раз, когда дискурс власти строится вокруг информации о предотвращенных или планируемых терактах или предупреждения об их возможности. Этот дискурс имеет свою семантику, или

язык знаков: предметами его особого внимания становятся, например, бесхозные вещи, забытые пассажирами в общественном транспорте, припаркованные близко к дому грузовые машины (после взрывов жилых домов в Москве несколько лет назад), или мобильные телефоны в руках пассажиров авиалайнеров (показательным является случай с самолетом авиакомпании KLM, следовавшим по маршруту Амстердам – Бомбей в августе 2006 г. и запросившим экстренную посадку после того, как бортпроводницы заметили эти предметы в руках у вызвавшей их подозрение группы индусов. Визуальным выражением этого дискурса *возбуждения* стали плакаты «Внимание: терроризм!», развешенные по всем вокзалам России в последнее время.

Понимание семантики при этом носит принципиальный характер, поскольку ряд «смысловых маркеров» носит не побочный, а конституирующий ситуацию характер. Ярким примером этого может служить квалификация взрыва в августе 2006 г. на Черкизовском рынке: как известно, виновные были этнически русскими, таким способом они протестовали против засилия приезжих в торговых точках столицы. Однако представим себе обратную ситуацию: что, если бы обвинение было предъявлено «лицам кавказской национальности»? Взрыв в этом случае был бы практически неизбежно квалифицирован как террористический акт, который бы встраивался в предсуществующую логику событий, общественных настроений и ожиданий.

Но самое интересное случается, когда эффекты, спровоцированные в обществе постоянными призывами к бдительности, активизируются и одновременно гасятся. Одним из вариантов стратегии *транквилизации* является типичная для многих случаев авиакатастроф ситуация, при которой первая реакция властей выглядит примерно следующим образом: причины случившегося неизвестны, обсуждаются многие версии, но терроризм исключен. Логическая ошибка такого объяснения очевидна: задолго до выяснения общей картины трагедии одна из ее причин вычеркивается (выносится за скобки); однако для нас важнее не то, действительно ли в конечном итоге крушение авиалайнера не стало следствием теракта, а само нежелание обсуждать эту версию как достойную общественного внимания. Весьма наглядно это проявилось, к примеру, при освещении катастрофы самолета *Пулковских авиалиний* под Донецком в августе 2006 г.

То есть *абстрактная* перспектива терроризма признается аксиоматичной, в то время как *конкретная* его возможность ставится под вопрос. Другими словами, в одном случае мы имеем *презумпцию вероятности*, а в другом – *презумпцию невероятности*. Один из парадоксов состоит в том, что именно эта операция дискурсивного подавления террористической версии как нельзя лучше подчеркивает ее *особый* статус, нарочито выводится из общего ряда технических причин, неизбежно приобретая черты эксклюзивности.

Другим примером той же дискурсивной стратегии является «криминализация» терроризма: в числе прочего, такой подход предполагает отказ террористам в признании за ними некоей политической логики, а значит – выводит их действия *за скобки* отношений власти в строгом смысле этого слова. В этом случае *транквилизация* совпадает с *дезсекьюритизацией* в том, что источник угрозы представляется как входящий (встраиваемый) в более или менее понятный массовому сознанию ряд *обычных* (рутинных) и так или иначе изученных феноменов.

В идеале эти две взаимно противоположные, на первый взгляд, тактики очерчивают собой ту гамму инструментов, которые могут и должны дополнять друг друга в арсенале

внешнеполитических ведомств РФ – от *технического*, правового наказания террористов как преступников до *политического* отграничения их от общества. Однако при ближайшем рассмотрении окажется, что эти противоположности объединяет одно – обе предполагают ту или иную форму исключения. Изнанкой стратегии *транквилизации*, таким образом, становится та самая *секьюритизация*, которая лежит в основе дискурса *возбуждения*. 🐘

## Примечания

- <sup>1</sup> Эко Умберто. Роль читателя. Санкт-Петербург: Симпозиум, 2005. С. 472.
- <sup>2</sup> Там же. С. 11.
- <sup>3</sup> Лотман Юрий. Анализ поэтического текста. Ленинград: Просвещение, 1972. С. 123.
- <sup>4</sup> Лотман Юрий. Структура художественного текста. Москва: Искусство, 1970. С. 87.
- <sup>5</sup> Фуко Мишель. Археология знания. Санкт-Петербург: «Гуманитарная энциклопедия», 2004. С. 275.
- <sup>6</sup> Там же. С. 74.
- <sup>7</sup> Schmitt Carl. The Concept of the Political. Chicago and London: the University of Chicago Press, 1996. P. 35.
- <sup>8</sup> Шмитт Карл. Диктатура. Санкт-Петербург: Наука, 2005. С. 60.
- <sup>9</sup> Там же. С. 75.
- <sup>10</sup> Там же. С. 273.
- <sup>11</sup> Там же. С. 251.
- <sup>12</sup> Derrida Jacques. The Politics of Friendship. London & New York: Verso, 2005. P. 161.
- <sup>13</sup> Бадью Ален. Философские размышления по поводу нескольких недавних событий. *Критическая Масса*. 2002, № 1.
- <sup>14</sup> Жижек Славой. 13 опытов о Ленине. Москва: Ad Marginem, 2003. С. 86.
- <sup>15</sup> Taureck Rita. Securitization theory and securitization studies. *Journal of International Relations and Development*. 2006. Vol.9, No 1, March P. 55.
- <sup>16</sup> Buzan Barry, Waver Ole, Wilde Jaap de. Security. A New Framework for Analysis. Boulder & London: Lynne Rienner Publishers, 1998. P. 22.
- <sup>17</sup> Hardt Michael, Negri Antonio. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. London: Penguin Books, 2004. P. 21.
- <sup>18</sup> Laclau Ernesto. Ethics, Normativity and the Heteronomy of Law. *Political Theory Daily Review*, <http://www.politicaltheory.info/essays/laclau.htm> (последнее посещение – 25 марта 2007 г.).
- <sup>19</sup> Zizek Slavoj. Da Capo Senza Fine, in: Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London & New York: Verso, 2000. P. 253.
- <sup>20</sup> Лаклау Эрнесто. Невозможность общества. *Логос*. 2003. № 4-5 (39). С. 57.
- <sup>21</sup> Там же. С. 56.
- <sup>22</sup> Zizek Slavoj. Iraq: the borrowed kettle. London & New York: Verso, 2004. P. 65.
- <sup>23</sup> Ремизов Михаил. Война, язык и невращения. *Логос*. 2000. № 2. С. 28–34.
- <sup>24</sup> Zizek Slavoj. Iraq: the borrowed kettle. London & New York: Verso, 2004. P. 159.
- <sup>25</sup> Derrida Jacques. The Politics of Friendship. London & New York: 2005. P. 121.
- <sup>26</sup> Бодрийяр Жан. Насилие глобализации. *Логос*. 2003. № 1 (36). С. 22.



- <sup>27</sup> Фуко Мишель. Ненормальные. Санкт-Петербург: Наука, 2005. С. 153.
- <sup>28</sup> Huysmans Jef. International Politics of Insecurity: Normativity, Inwardness and the Exception. *Security Dialogue*. 2006, March. Vol.37, N 1. P.1 2.
- <sup>29</sup> Derrida Jacques. Op.cit. P. 82.
- <sup>30</sup> Фуко Мишель. Цит.соч. С. 61.
- <sup>31</sup> Там же. С. 108.
- <sup>32</sup> Делез Жиль, Гваттари Феликс. Что такое философия? Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. С. 229.
- <sup>33</sup> Фуко Мишель. Цит.соч. С. 146.
- <sup>34</sup> Там же. С. 119.
- <sup>35</sup> Там же. С. 47.
- <sup>36</sup> Там же. С. 176.
- <sup>37</sup> Там же. С. 329.
- <sup>38</sup> Zizek Slavoj. Op.cit. P. 81.
- <sup>39</sup> Huysmans Jef. Op. cit. P. 18
- <sup>40</sup> Neal Andrew. Foucault in Guantanamo: Towards an Archaeology of the Exception. *Security Dialogue*. March 2006. Vol. 37, N 1. P. 34.
- <sup>41</sup> Huysmans Jef. Op.cit. P. 20.
- <sup>42</sup> Jabri Vivienne. War, Security and the Liberal State. *Security Dialogue*, March 2006. Vol.37, N 1. P. 56.
- <sup>43</sup> Деррида Жак. Письмо и различие. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 162.
- <sup>44</sup> Бабуркин Сергей. Оценка современного терроризма: российский и американский подходы. В кн.: Российско-американские отношения в условиях глобализации. Москва: РОО «Содействие сотрудничеству Института им. Дж.Кеннана с учеными в области социальных и гуманитарных наук», 2005. С. 262.
- <sup>45</sup> Schmitt Carl. The Concept of the Political. Chicago and London: the University of Chicago Press, 1996. P. 32.
- <sup>46</sup> Фуко Мишель. Интеллектуалы и власть. Москва: Праксис, 2005. С. 103.
- <sup>47</sup> Драгунский Денис. Идентичность после конфронтации: поиски Другого в униполярном мире. *Вестник Института Кеннана в России*, выпуск 6. Москва, 2004. С. 5.
- <sup>48</sup> Zizek Slavoj. The Puppet and the Dwarf. The Perverse Core of Christianity. Cambridge and London: the MIT Press, 2003. P. 98.